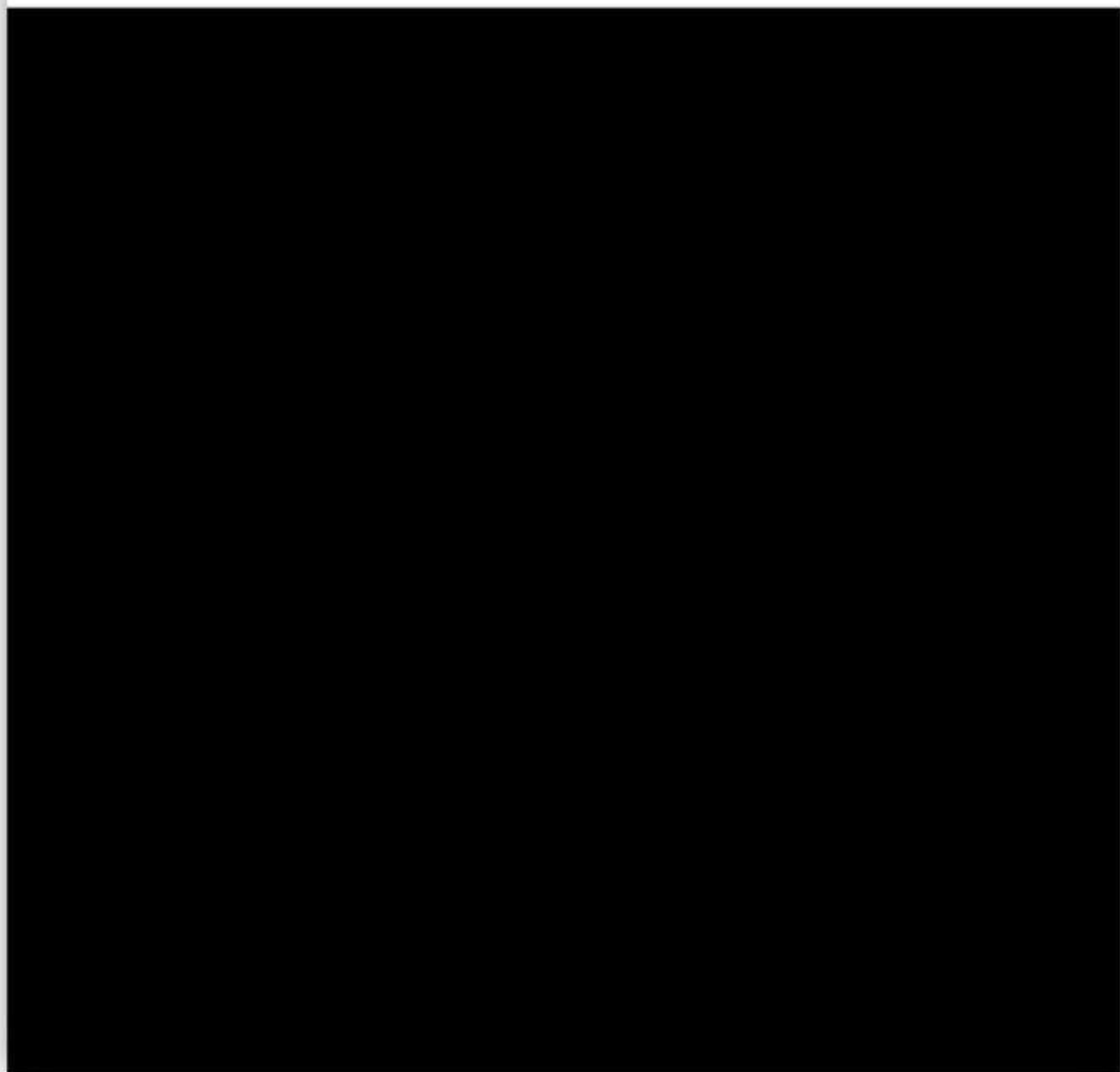


18+

АРТУР КРОМОВ

Воспитатель



Артур Кромов

Воспитатель

«Издательские решения»

Кромов А.

Воспитатель / А. Кромов — «Издательские решения»,

Жизнь в районе превратилась в ад. Жителей терроризируют стаи бродячих собак, тарахтящие мопеды, музыка, гремящая по ночам, хулиганы и алкоголики. Полиция бездействует. И один равнодушный гражданин решил навести порядок собственными руками. С помощью слова, разводного ключа и прочих средств убеждения. За это его прозвали Воспитатель. Постепенно его методы становятся всё более жестокими. И родственник одного из пострадавших хочет отомстить. Схватка неизбежна.

© Кромов А.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	22
Глава 5	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Воспитатель

Артур Кромов

© Артур Кромов, 2026

ISBN 978-5-0070-4520-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Будильник не понадобился. Голуби проснулись в пять.

Он лежал в темноте и слушал. Сначала мягкое, горловое воркование. Потом топот. Лапки с когтями гулко стучали по жестяному козырьку балкона. Птицы хлопали крыльями, воркование превратилось в громкий клёкот. Голуби что-то горячо обсуждали, как на базаре, то ли ругались, то ли флиртовали. Громко топтались по всей крыше, как у себя дома. Ничего не боятся.

Он сел на кровати. Опустил ноги на холодный линолеум. Тапки стоят рядом, ровно, носками от кровати. Он сунул в них ступни и встал. Свет не включал. Серый осенний рассвет, начало сентября. Видно достаточно того, чего не хочешь видеть.

Балконная дверь заскрипела. Надо смазать. В лицо ударил воздух: сырой, холодный, с кислинкой. Птичий помёт. Голуби облепили крышу балкона — пять или шесть штук, судя по топоту. Скоро он будет знать каждого голубя по имени отчеству. По походке, по голосу.

Парочка угнездилась на балках для бельевых верёвок. Сизые, жирные, с красными лапками и пустыми глазами-бусинами. При его появлении они даже не взлетели. Один, самый крупный, повернул голову, посмотрел на него и снова отвернулся, будто говоря: «Ты здесь никто. Это наша территория». Он уже не вывешивает постиранное бельё на балконе. Они победили.

Раньше бы жена заставила его разобраться с захватчиками. Она не терпела мусор и неуважение. Эти мерзкие птицы олицетворяли и то и другое. А теперь ему почти всё равно. Но только почти.

На стекле потёки голубиного помёта. Страшно подумать, во что превратилась крыша. Толстый заскорузлый белый слой, въевшийся в жёсть. Он это видел на других балконах, этажами ниже. Вряд ли у него ситуация лучше. Надо смыть эту дрянь с окон. Но в этом ему почудилась какое-то унижение. Будто он слуга, который вечно подтирает за своими хозяевами.

Сегодня он ничего мыть не станет. Стоял и смотрел на голубей. На помёт. На серое небо над высотками. Смотрел долго. Потом развернулся и пошёл на кухню.

Чайник вскипел с третьим, надрывным шипением. Он заварил чай. Один пакетик. Одна кружка. Та, что с синими цветочками. Люсина кружка. Он пил из неё каждое утро уже год.

В семь он вышел из подъезда. Точнее попытался выйти. Открыл дверь и в щель хлынул холодный воздух с бензиновой гарью.

Чёрный джип. Огромный, блестящий. Припаркован вплотную к ступеням, левым колесом на тротуаре, правым на газоне. Под днищем — примятая трава, жёлтая, мёртвая. Водитель бросил машину ночью и ушёл. Куда? Какая разница.

Он протиснулся боком. Ручка двери джипа прочертила полосу по его куртке, от груди до бедра. Звук был такой, будто ноготь провели по классной доске. Он не обернулся. Просто пошёл дальше.

На ходу подумал: если бы сейчас кому-то понадобилась скорая, носилки не прошли бы. Пришлось бы нести человека на руках, обходя машину по газону, спотыкаясь о бордюр, матерясь и теряя секунды. Он знал, как это бывает. Он помнил.

У мусорных баков ждали собаки.

Стая — пять голов. Вожак, чёрный кобель с разорванным ухом, лежал на куче разорванных пакетов. Контейнер переполнен — мусор не вывозили вторую неделю. Огрызки, картофельные очистки, что-то бурое, растёкшееся по асфальту. Запах стоял сладковатый, тошнотворный, с примесью гнили и мокрой шерсти.

Он пошёл мимо, глядя прямо перед собой. Не смотреть в глаза. Это правило он усвоил давно. Собаки чувствуют страх, но ещё лучше они чувствуют вызов. Он не боялся и не бросал вызов. Он просто шёл.

В двух шагах от стаи он услышал низкое, утробное рычание. Вожак поднял голову. Жёлтые глаза уставились на него, и в них не было злобы. Было спокойное, хозяйское презрение. «Я здесь живу. Ты здесь проходишь. Это мой двор. Не твой».

Кобель сорвался с места и вцепился зубами в штанину. Ткань затрещала. Он дёрнул ногой — собака отскочила, оставив длинную рваную полосу от колена до щиколотки. Лоскуты ткани болтались, открывая голую кожу.

Вожак отбежал на несколько шагов, сел и уставился на него. В зубах застрял клочок материи. Жёлтые глаза не мигали.

Он наклонился, не сводя взгляда с собаки. Рука нащупала обломок кирпича у бордюра. Гладкий с одной стороны, шершавый с другой. Он размахнулся и швырнул. Не в собаку — в сторону. Кирпич ударился в бак, брызнул осколками. Стая с визгом рассыпалась.

Вожак поднял голову, со стороны парка шёл какой-то трудяга на остановку. Стая бросилась к нему. Обступила, захлёбываясь лаем. Мужик заматерился. Обычное будничное утро и даже не деревенское, а городское.

Он выпрямился. Брючина висела лохмотьями. От ткани пахло псиной, слюной и чем-то тухлым. Он посмотрел на свою голую ногу — на коже краснела ссадина, но крови нет. Повезло.

Он пошёл обратно. Прохладный воздух разрисовал мурашками голую ногу. Он не ускорил шаг. Торопиться уже некуда. На работу он в любом случае опоздал. Пока вернётся, наденет новые брюки, его автобус давно исчезнет за поворотом. Следующий через полчаса.

Солнце поднялось над высотками, но двор оставался в тени. Высокие стены домов не пропускали свет до полудня.

Пётр Иванович стоял у своей «девятки». Старая машина цвета мокрого асфальта, с трещиной на лобовом стекле и ржавчиной на порогах. Старик смотрел на пробитое колесо. Правое заднее лежало на ободке, резина сползла, как спущенная кожа. Пётр Иванович стоял, опустив руки, и просто смотрел.

— Доброе утро, — сказал он.

Старик обернулся. Лицо серое, под глазами — мешки. Он провёл ладонью по щеке, и послышался сухой скребущий звук щетины.

— Какое там доброе, — он кивнул на колесо. — Чем им моя развалюха помешала.

Он посмотрел на колесо. На пыльную надпись пальцем на заднем крыле: «Мойся». Кто-то развлекался ночью, пока район спал. Или не спал. В этом районе никто не спит по-настоящему.

— Я с утра хотел, пока тихо, — Пётр Иванович говорил сам с собой, не ожидая ответа. — К внукам собирался. Дочка попросила с младшим посидеть. А теперь что? — Он махнул рукой.

Окурок на лобовом стекле. Кто-то сидел на капоте и курил, а потом затушил бычок прямо о стекло. Коричневое пятно, въевшееся в самый центр. Пётр Иванович смотрел на него, но, кажется, ещё не заметил.

— Может, камеру поставить? — спросил он сам себя. — Да толку. Украдут и камеру.

Он кивнул Петру Ивановичу и пошёл к подъезду. Сзади старик открывал багажник и гремел домкратом.

У третьего подъезда на лавочке сидела Анна Степановна. Тетрадка на коленях, ручка с обгрызленным колпачком в руке. Она записывала номера нарушителей. Кто ставит машины на газон, перегораживает подъезд. Включает музыку на полную громкость, отчего дрожат стёкла в окнах на первом и балконах на втором этаже. Толку никакого, но старушке приятно. Вроде как при деле.

— Доброе утро.

Она подняла голову, прищурилась.

— Опять этот джип у дверей. Третий раз за неделю. Я записала. — Она показала тетрадку. — И ту, серую, на газоне. Видал?

Он кивнул. Серая «Киа» стояла передними колёсами на траве, задними на тротуаре. Под брюхом машины земля была пробита до глины. Когда-то здесь росла трава — чахлая, но живая. Теперь — колея. Глубокая, чёрная, как шрам.

— Я участковому звонила, — Анна Степановна покачала головой. — Никому нет дела. — Она сжала ручку так, что костяшки побелели. — Круг замкнулся. Понимаешь?

Он понимал. Круг замкнулся давно. Он стоял перед этой дверью, стучал, звонил, писал — и каждый раз она захлопывалась перед носом.

— Кто-нибудь должен навести порядок, если государству всё равно, — сказала Анна Степановна, глядя на джип. — Но некому. Кончились люди. Последние настоящие ещё в ту войну полегли. А нынешние, — она пренебрежительно махнула рукой, — только кофе пить умеют. Это они могут. Вон, со стаканчиком идёт, будто в поликлинику собрался анализы сдавать, а вид торжественный, будто цветы девушки несёт. Тьфу.

Он ничего не ответил. Пошёл к своему подъезду. За спиной скрипела ручка. Анна Степановна дописывала очередной номер.

Дома он скинул рваные брюки. Бросил в корзину для белья. Но нет, не вариант. Постоял, глядя на лоскуты ткани, на ссадину на ноге. Зашить нельзя — ткань разошлась до самого колена. Ещё одни брюки на выброс. Не первые.

Он открыл шкаф. Достал последние целые. Надо бы в магазин, но он всегда терпеть не мог покупать одежду. Все эти примерки, выбор из кучи одинакового дешёвого ширпотреба. Придётся себя пересилить в эти выходные. Старые брюки, с протёртыми коленями, но хотя бы не дырявые. Надел. Подошёл к окну.

Джип всё ещё стоит у подъезда. Солнечные лучи били в тонированные стёкла, заставляя их блестеть. Внутри никого. Водитель спит где-то, пьёт чай, ест яичницу — и не думает о тех, кто не может выйти из подъезда. О тех, кто протискивается боком. О тех, кого могла бы не довести скорая.

Собаки вернулись к бакам. Вожак лежал на той же куче, зажмурившись от солнца. Остальные рылись в пакетах, растаскивали мусор по двору. Пакет с картофельными очистками лопнул, и ветер погнал шелуху по асфальту.

Пора на работу. Дубль 2.

У ларька на углу уже сидели. Алкоголики активизируются ранним утром. Некоторые ещё не ложились спать, другие торопятся опохмелиться.

Двое. Мужчина в растянутой майке, несмотря на утреннюю прохладу, и женщина с синяком на скуле. Синяк старый, желтоватый, но ещё не сошёл. Перед ними на картонке из-под яиц початая бутылка водки. Стаканов нет — пили из горла. Мужчина говорил что-то хрипкое, неразборчивое. Женщина молчала, глядя в одну точку перед собой. На асфальте у её ног валялась пустая пачка сигарет.

— Закурить не найдётся? — спросила она, не поднимая головы.

Голос сиплый, без интонации. Она спрашивала по привычке, не ожидая ответа.

Он покачал головой.

— Иди тогда, — сказала она беззлобно. Просто констатировала факт. Иди. Все идут. Никто не останавливается.

Он свернул к парку.

Тропинка, ведущая мимо пруда, усеяна мусором. Пивные банки, блестящие в утреннем свете, как гильзы после перестрелки. Смятые пачки из-под чипсов. Осколки бутылки — кто-то разбил зелёное стекло прямо посреди дорожки. Использованный презерватив валялся у воды, набухший от росы. Вода в пруду мутная, маслянистая, с радужными разводами у берега. У самого края, запутавшись в тине, плавала дохлая утка. Клюв приоткрыт, будто она перед смертью пыталась что-то сказать.

Никто её не убирал. Она здесь уже три дня. Он знал точно. Он считал.

На лавочке у воды спал подросток. Прямо на спинке, свесив ноги в грязных кроссовках. Лица не видно — капюшон надвинут, голова упала на грудь. Рядом валяется портативная колонка, чёрная, поцарапанная. Разряженная. Замолчавшая только под утро. Парень спал, беззащитный, открытый, и он подумал: вот так и убивают. Подойти, ударить, бросить в пруд. Никто не заметит. Никому нет дела.

Он прошёл мимо. Мысль осела где-то глубоко, в тёмном углу сознания, и затаилась.

Позади пруда есть холм. Зимой отсюда катаются на санках или просто с визгом летят на картонках. Он поднялся на него, и что-то заставило его обернуться, осмотреться. Никогда раньше не оборачивался. Отсюда оказывается хороший вид.

Алкаши у ларька допили первую бутылку и начинали вторую. Женщина с синяком уже не сидела, а лежала, положив голову на картонку. Мужчина в майке что-то рассказывал новому собутыльнику, размахивая руками.

У парка, на берегу пруда, проснулся подросток. Сел на лавке, потянулся, закурил. Потом достал из рюкзака пауэрбанк, подключил колонку. Через минуту оттуда ударил бас. Тяжёлый, низкий, вибрирующий в стёклах.

Он стоял на холме и смотрел.

На джип. На собак. На алкашей. На подростка. На мусор, который ветер гнал по кругу, и на мёртвую утку в пруду, которую не убрали ни вчера, ни позавчера.

Начальник не обрадовался его опозданию и высказал недовольство в присущей ему беззаботной и открытой манере. Бывший учитель труда стоял, опустив голову и сжав кулаки. В школе, по крайней мере, была какая-то вежливость между сотрудниками. А здесь, на заводе, люди простые. Не плохие. Но особо не стесняются в выражении своих чувств и мыслей.

В школе ему нравилось, но он больше не мог смотреть на детей, после всего что произошло.

Вечером стоял перед окном на кухне в полутьме, даже не стал зажигать свет.

На подоконнике Люсины кружка. Чай остыл и высох, оставив на дне бурый ободок. Он посмотрел на кружку. На синие цветочки, которые жена выбирала когда-то в магазине. Долго выбирала, спорила с продавщицей. «Эти или те? Смотри, синие или жёлтые. Какие ярче?». Он не помнил, какие ярче. Он вообще не помнил, что ответил.

Взял кружку. Помыл. Тщательно, с чистящим средством, пока внутри не закрипело. Поставил на подоконник, рядом с её фотографией. Люся улыбалась. Она улыбалась так, как не улыбалась последние месяцы жизни. Он помнил тот день: они выехали за город, к реке. Она сидела на пледе, живот уже округлился, и она держала на нём ладонь. Он фотографировал её, а она смеялась: «Хватит, я толстая и нефотогеничная». Он тогда ответил: «Ты красивая». Она не поверила, но улыбнулась.

Он поставил кружку рядом с фотографией. Ровно. Чтобы ручка смотрела в ту же сторону, что и лицо жены. Поправил рамку на сантиметр.

Сел у окна и стал смотреть.

На балконе напротив сосед скрёб птичий помёт. Металлический шпатель скрежетал по жести. Голуби кружили над двором, не улетаая, не боясь. Они всегда возвращались.

Где-то наверху, этажом выше, хлопнула балконная дверь. Ещё одна — на девятом. Ещё — на двенадцатом. Жители выходили на балконы, чтобы смотреть на двор, на парк, на пруд. Стояли и смотрели. И ничего не делали.

Он сидел у окна и ждал.

Он умел ждать.

К вечеру бардак сгустился, как сворачивается кровь на воздухе.

Парковка у подъезда превратилась в полосу препятствий. К джипу добавились ещё три машины. Одна перегородила пандус, и женщина с коляской — Карина, остановилась перед ней, упёршись ручками коляски в капот. Обойти нельзя. Она спустилась с тротуара на проезжую часть, протаскала коляску через лужу, снова поднялась. Павлик проснулся и заплакал. Тонкий детский плач разнёсся по двору, отражаясь от стен высоток. Карина качала коляску и шептала: «Тише, тише, маленький». Губы у неё были сжаты в белую нитку.

Он видел это из окна. Видел, и ничего не сделал. А что он мог? Выйти, найти водителя, попросить убрать машину? Водитель послал бы его. Или не открыл дверь. Или убрал бы машину, а завтра поставил снова. Слова не работают. Он это знает.

Из парка доносилась музыка. Компания подростков подтянулась к вечеру: те самые, в кожаных куртках не по сезону. Костёр горел у воды, и дым поднимался к верхним этажам, затягивая балконы. Пахло гарью и жжёным пластиком. Кто-то бросил в огонь пустую канистру, и теперь оттуда валил жирный чёрный дым. Подростки смеялись. Кто-то швырнул бутылку в пруд. Она не разбилась, поплыла, толкая дохлую утку.

У ларька было уже человек шесть. Двое стояли, сцепившись руками в пьяном танце, и орали песню. Женщина с синяком спала на картонке. Мужчина в майке бил кулаком по двери ларька и требовал добавки. Продавщица не открывала. В долг не продаём.

Мопед он услышал за минуту до того, как тот появился во дворе. Сначала — далёкий, ноющий звук, похожий на комариный писк. Потом — нарастающий рёв, от которого начинали вибрировать рёбра. Колян Мопед въехал во двор на полном газу, заложил круг по газону, развернулся у самых окон и остановился, прогревая двигатель. Шум стоял такой, что зазвенели стёкла в серванте. Он не вздрогнул. Он сидел и смотрел, как парень в шлеме слезает с мопеда и, насвистывая, идёт к подъезду.

Наверху, на восьмом этаже, Витёк Магнитофон открыл окно и прибавил громкости. Шансон полился сверху — густой, липкий, с надрывным мужским голосом о тюрьме, разлуке и маме. Кто-то стучал по батарее. Кто-то кричал с балкона: «Выключи, скотина!» Витёк не выключал.

Он сидел у окна и считал звуки.

Мопед — стих.

Шансон — продолжается.

Собаки — залаяли.

Подростки — смеются.

Алкаши — орут.

Ребёнок — плачет.

Звуки накладывались друг на друга, создавая симфонию. Он слушал её каждый вечер. Каждую ночь. Уже много лет. Раньше он затыкал уши. Или включал телевизор, чтобы перебить шум, надевал наушники.

Они с женой хотели переехать, но в других районах плюс-минус то же самое. На жил-комплексы с охраной денег не было и нет. А потом было уже поздно.

Теперь он просто слушал. Потому что это правда. Это настоящая реальность. А от реальности не спрячешься.

В три часа ночи Колян Мопед вернулся. Снова круг по двору. Снова рёв под окнами. Снова стекла зазвенели.

В три пятнадцать алкаши начали расходиться. Женщина с синяком встала, шатаясь, и побрела в сторону парка. Мужчина в майке остался сидеть у ларька, уронив голову на грудь.

В четыре Витёк Магнитофон, наконец, выключил музыку. Окно захлопнулось.

В четыре тридцать стало тихо.

Он сидел в кресле у окна. В комнате темно — только оранжевый свет фонаря с улицы падал на пол, расчерчивая его на квадраты. Люсина кружка поблёскивала на подоконнике. Фотография улыбалась.

Вышел на балкон. Посмотрел на двор. На парк. На пруд. На джип, который так и не убрали. На дохлую утку, которая так и плавала у берега. На тлеющие угли костра в парке. На очередного спящего на лавке подростка.

Всё это — хаос, грязь, шум, вонь, безразличие — его мир. Мир, в котором умерла его жена. В котором так и не родилась дочь. Мир, который пожирает слабых и кормит сильных. Место, в котором никто ни за что не отвечает.

Он смотрел на свои руки. Руки столяра. Мозоли на ладонях, вьёвшаяся в трещины древесная пыль. Он сжал кулаки. Разжал. Пальцы слушались идеально. Они всегда слушались.

Где-то в груди, под левым ребром, зашевелилось что-то холодное. Не гнев. Ярость была горячей, слепой, быстрой. Это было что-то другое. Спокойное, кристально ясное, ледяное решение. Так вода превращается в лёд. Медленно. Незаметно. Навсегда.

Он поднял голову и посмотрел на фотографию.

— Я наведу порядок, милая, — сказал он тихо. — Обещаю.

Голос в пустой квартире прозвучал глухо, как в склепе.

В нём будто что-то лопнуло. Воздушный шарик яростного напряжения, который он даже не замечал. Шарик, который сжали так сильно, что он разлетелся на равные куски. И впервые за последний год он почувствовало лёгкость. Тяжесть ушла. Ум стал ясным и очевидным как таблица умножения. В теле наконец-то выпрямилась туго сжатая пружина. Но не остановилась, а продолжала раскручиваться. И не остановится, пока он не наведёт здесь порядок. Или пока кто-то не покажет ей предел.

Через неделю он почувствовал, что готов.

Подошёл к шкафу. Открыл дверцу. Внутри, под стопкой старых книг, стояла коробка. Простая картонная коробка из-под обуви. Он достал её и поставил на стол. Открыл крышку.

Внутри инструмент. Не тот, которым он учил детей строгать табуретки. Этот инструмент он собирал последние дни — по одному предмету, в разных магазинах, расплачиваясь наличными. Моток капроновой верёвки, аккуратно смотанный. Изолента, пластиковые пакеты разного размера, ножи, кусачки, леска и прочие инструменты необходимые в хозяйстве.

А ещё блокнот в клетку с первыми записями — адреса, имена, расписание.

Он закрыл коробку. Убрал обратно в шкаф. Придавил книгами.

Завтра он начнёт. Просто предупреждение. Он даст им шанс. Всем. Пусть докажут, что они не совсем потерянные. Пусть покажут, что умеют учиться.

Он лёг в кровать. Закрыл глаза. В голове тихо. Первый раз за год — по-настоящему тихо. Завтра.

Глава 2

Сквозняк гулял по аудитории, хотя окна закрыты. Просто в корпусе политеха никогда не умели строить — или не умели ремонтировать. Артём сидел в третьем ряду, у окна, положив подбородок на кулак, и смотрел на доску. Преподаватель, сутулый доцент в мятом пиджаке, выводил маркером схему базы данных. Связи, таблицы, внешние ключи. Маркер скрипел. В прошлой жизни этот звук раздражал бы Артёма. Теперь он едва замечал его.

Рука ныла.

Он разжал кулак. На костяшках — свежая ссадина. Кожа лопнула, когда он вчера ударил в стену. Не в Лёху — в стену. Потому что бить Лёху вроде как нельзя. Он — брат. А запасного брата два у него нет. К тому же, он не из тех, кто решает проблемы кулаками. Тем более с родственниками. Возможно, к сожалению.

Он сжал кулак снова. Ссадина отозвалась тупой, ноющей болью, и эта боль была почти приятной. Она была реальной. Она была здесь и сейчас. Она не давала провалиться в мысли.

Доцент что-то спросил. Артём не услышал. Сосед по парте, Никита, толкнул его локтем:

— Тёма, ты с нами вообще?

— Ага.

— Я спрашиваю: ты курсовую сдал? Дедюхин сказал, крайний срок — пятница.

Курсовая. Он забыл про курсовую. Он забыл про многое. В его голове последние недели работал только один процесс: Лёха-где-Лёха-почему-не-берёт-трубку-Лёха-вернись. Всё остальное ушло в фон, стало белым шумом, как музыка из парка.

— Не сдал, — сказал он. — Доделаю.

— Когда? — Никита прищурился. Толстый, смешливый, в очках с толстыми линзами и вечно растрёпанными волосами. Они дружили с первого курса — два айтишника, которым было скучно на лекциях, потому что они и так знали больше преподавателей. Но сейчас Никита смотрел невесело. Он смотрел с тревогой.

— Завтра. Или послезавтра.

— Ты так уже неделю говоришь.

Артём промолчал. Никита вздохнул, поправил очки и отвернулся к своей тетради. Он был хорошим другом. Он не давил. Но Артём знал: ещё пара дней — и Никита начнёт давить. Потому что хорошие друзья на то и нужны, чтобы подхватить в нужный момент.

Лекция закончилась. Студенты зашумели, задвигали стульями, потянулись к выходу. Артём остался сидеть. Он смотрел на свою руку. На ссадину. На белую полоску шрама на указательном пальце — в детстве порезался ножом, когда чистил картошку. Лёхе тогда было пять, он стоял рядом и хныкал: «Тёма, у тебя кровь, тебе больно?» Артём, сам десятилетний пацан, замотал палец полотенцем и сказал: «Не больно. Мужчины не плачут». Лёха поверил.

— Тём?

Он поднял голову. Никита стоял у двери, перекинув рюкзак через плечо.

— Ты на доставку сегодня?

— Да. В шесть.

— А до этого? Домой?

— Домой.

Никита помялся. Он хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Просто кивнул и вышел.

Артём собрал вещи. Ноутбук, тетрадь, ручка. Всё как обычно. Только домой возвращаться не хочется.

На улице воняло выхлопными газами и мокрым асфальтом. После духоты аудитории воздух показался почти вкусным. Артём постоял на крыльце, привыкая к свету. Солнце висело низко над высотками, заливая двор оранжевым. Красиво. Он не замечал красоты уже месяц. Или больше.

Он пошёл через парк. Так быстрее. Или дольше — смотря как считать, по каким тропкам бродить.

Пруд блестел в дневном свете. Масляная плёнка переливалась, как бензин в луже. Дохлая утка всё ещё плавала у берега. Артём остановился. Посмотрел на раздутое тельце. На оранжевые лапы, задранные вверх. На приоткрытый клюв. Что-то в этой утке было такое, от чего он не мог отвести глаз. Может быть, полное, абсолютное одиночество. Может быть, то, как она никому не была нужна.

Рядом на лавочке сидели подростки. Те самые. Четыре человека. У одного на коленях портативная колонка — играл рэп с тяжёлым басом. Двое курили, передавая вейп. Третий что-то рассказывал, смеясь над собственными шутками. Артём поискал глазами Лёху. Его не было.

Это могло означать что угодно. Лёха мог быть дома. Мог быть в другом месте. Мог быть с другой компанией. Артём не знал. Он перестал понимать, где его брат, ещё в прошлом месяце.

Один из подростков заметил его взгляд.

— Чего уставился? — лениво, без агрессии. Просто проверка границ.

Артём отвёл глаза и пошёл дальше. За спиной хмыкнули. Что-то сказали — он не разобрал слов. Смешок.

Он подумал: Лёха тоже так смеётся? Когда его нет рядом? Он смеётся над прохожими, над теми, кто смотрит не так, над слабыми? Он стал одним из них?

Мысль горькая, как таблетка, которую разжевал.

Квартира встретила тишиной. Густой, ватной тишиной пустых комнат. Артём закрыл дверь, скинул кроссовки, прошёл на кухню. На столе немытая чашка — его, утренняя. Рядом — тарелка с засохшими остатками яичницы. Лёхина тарелка. Он не мыл за собой. Он вообще ничего не делал по дому. Артём убирал, стирал, готовил — и ненавидел себя за эту бытовую покорность, но продолжал делать. Потому что если не он — никто.

Он повернул ручку комнаты Лёхи. Заперто. Брат стал запирается месяц назад, после того как Артём увидел на его столе зажигалку. Не простую — с выгравированным черепом. Такие продают в ларьке у метро. Артём спросил: «Ты куришь?» Лёха вырвал зажигалку: «Не твоё дело». Дверь захлопнулась. С тех пор она закрыта всегда.

Артём постучал. Тишина. Он прижался лбом к дверному косяку. Дерево было прохладным.

— Лёха, надо поговорить.

Молчание.

— Я не злюсь. Пока не злюсь. Хватит уже. Просто открой.

Тишина. Артём закрыл глаза.

— Да, да, я тебя достал. А ты меня достал. Но ничего не поделаешь. Работа у родителей такая. А я тебе не батя. Но я сейчас за старшего. Открой эту чёртову дверь.

Да уж. У родителей всегда работа. Мотаются по всему миру со своими стройками. Раньше он тоже бесился, когда их в очередной раз оставляли на бабушку с дедушкой. Но потом успокоился. Понял, что надо заниматься своими делами, жить свою жизнь. Теперь старики умерли и он за старшего. А он вообще не нанимался родителем к этому балбесу.

Лёха, в отличие от него, так и не перерос детскую обидчивость. Для него отъезд родителей как личное оскорбление. Ему кажется, что его бросили. А вымещает на ни в чём не повинном старшем брате. Балбес и есть. Если не хуже.

Тишина. И вдруг — шаги за дверью. Босые пятки по линолеуму. Замок щёлкнул.

Лёха стоял в проёме. Худой, угловатый старшеклассник, с тёмными кругами под глазами. Волосы всклокочены после сна. Отсыпается днём, чтобы куролесить ночью. Одет в мятые джинсы и растянутую футболку с логотипом рэп-исполнителя, которого Артём не знает. На левом запястье — новый браслет, чёрный кожаный шнурок.

— Чего тебе?

Голос хриплый после сна. Но глаза — не сонные. Глаза насторожённые. Готов к атаке.

— Где ты был ночью?

— Гулял.

— С кем?

— С пацанами.

— Лёха, — Артём заставил себя говорить спокойно. — Я тебе не враг. Я твой брат. И я волнуюсь.

— Зря.

Он прислонился плечом к косяку. Руки скрестил на груди.

— Вчера ты вернулся в четыре утра. Я слышал. Я из-за тебя скоро вообще спать перестану.

— Спи себе. Я тебе не мешаю.

— Лёха...

— Что «Лёха»? — он повысил голос. Глаза вспыхнули. — Что ты всё за мной ходишь? Я не маленький! И да, ты мне не батя! Родители уехали, им плевать на нас. Всегда было плевать. А ты из себя няньку строишь. Думаешь, если ты старше, значит, главный? А кто тебя назначал?

— Родители.

— И где эти родители!

— Просто...

— Просто — что? Ты программист. Коды пишешь. Ты думаешь, жизнь — это программа? Думаешь, меня можно отладить?

Он усмехнулся зло, колко.

— Не получится. Я не твой баг.

Артём молчал. Лёха выдохнул, потёр лицо ладонью. На секунду он стал выглядеть не как агрессивный подросток, а как уставший ребёнок. Маленький мальчик, которого бросили родители. У которого есть только старший брат — и тот не понимает.

— Слушай, — сказал Артём тихо. — Я не хочу, чтобы ты влип в неприятности. Твои друзья...

— Мои друзья тебя не касаются.

— Они жгут костры в парке. Мусорят. Орут по ночам.

— Мы просто развлекаемся.

— Для каждого вашего развлечения есть статья в уголовном кодексе. Кстати, откуда у тебя деньги? А от твоей футболки воняет вовсе не сигаретами.

— Тоже мне правильный нашёлся, — скривился брат, сказал, словно выплюнул.

— Это нормально? Ты хочешь так жить?

Лёха посмотрел на него долгим взглядом. В этом взгляде было что-то, чего Артём не понял. Может быть, презрение. Или усталость. Возможно, желание, но неспособность что-либо объяснить.

— Ты не знаешь, чего я хочу, — сказал Лёха. — Ты вообще меня не знаешь.

Он оттолкнулся от косяка и захлопнул дверь. Щелчок замка прозвучал как выстрел.

Артём стоял в коридоре. Смотрел на закрытую дверь. На белые пятна от пальцев на ручке. На царапину на косяке, оставленную ещё в детстве, когда Лёха въехал велосипедом в стену. Ему было семь. Он плакал, что его накажут. Артём, одиннадцатилетний, закрасил царапину маминым лаком для ногтей. Мама ругалась. Лёха смеялся сквозь слёзы.

Теперь всё иначе.

В дверь позвонили. Артём невольно вздрогнул. Открыл дверь.

— Привет, — сказала Лика.

Она стояла на пороге с пакетом из супермаркета. Длинные светлые волосы собраны в небрежный пучок, заколотый карандашом. На плечах — зелёный кардиган крупной вязки, который Артём любил больше всего. Под глазами — лёгкая тень усталости. Она много работала над своими проектами. Он даже не спросил, как у неё дела. Давно не спрашивал.

— Ты забыл, да? — она улыбнулась. Улыбка была тёплая, но какая-то осторожная, будто она боялась спугнуть.

— Что забыл?

— Мы договаривались. Ужин. Вместе. Ты, я и Лёха. Ты сказал: «Давай посидим как люди».

Четверг. Точно. Он действительно сказал это — неделю назад. И забыл.

— Извини, — он провёл рукой по лицу. — Замотался. Заходи.

Лика вошла, скинула кеды и сразу направилась на кухню. Там она быстро оценила обстановку: немытая посуда, крошки на столе, в раковине — забытый носок. Артём понял это по тому, как изменилась её спина. Чуть напряглась. Она не сказала ни слова. Просто поставила пакет на стол и начала убирать. Достала продукты. Включила чайник. Её движения были плавными, привычными, словно она жила здесь.

— Лёха дома? — спросила она, не оборачиваясь.

— В своей комнате. Закрылся.

— Понятно.

Она резала помидоры. Нож стучал по доске ровно, методично. Артём стоял у дверей и смотрел, как она двигается. Тонкие запястья, длинные пальцы. Серебряная цепочка с кулоном-птичкой покачивалась при каждом движении.

— Как проект? — спросил он, просто чтобы что-то сказать.

— Проект? — она усмехнулась. — Дизайн — это то, что я делаю, когда не думаю о тебе и Лёхе. Как вы грызётесь как кошка с собакой. Хотя нет, как собака с собакой. Как овчарка и терьер. Как суровый бульдог и дерзкий пудель. Как дог и Снуп Дог. — Артём невольно улыбнулся. — Так что, где-то на двадцать процентов готов.

— Извини, что мешаю тебе сосредоточиться.

— Ты уже третий раз извиняешься за пять минут. Это рекорд.

Она обернулась, и её глаза, серо-зелёные, цвета пруда в пасмурный день, встретились с его глазами. В них не было упрёка. Только тревога.

— Тём, что происходит? Ты совсем застиранный, как старые джинсы. Скоро сойдёшь на нет. Забываешь, какой сегодня день. Смотришь сквозь меня, когда я говорю. Я понимаю — Лёха. Но у него такой возраст. Он или перерастёт, или...

Артём нахмурился.

— Вот я и не хочу, чтобы «или».

— И что ты сделаешь? Прикуёшь его наручниками к батарее!

— Если понадобится. Он совсем с катушек съехал.

— И ты скоро съедешь, если продолжишь в том же духе.

Он молчал. Лика отложила нож, подошла к нему, взяла его руку — ту самую, с разбитыми костяшками.

— Это что?

— Ударился.

— Обо что? О стену?

Он не ответил. Она держала его руку и смотрела на ссадину. Гладила большим пальцем по здоровой коже, рядом с ранкой. Её пальцы были прохладными после помидоров.

— Ты калечишь себя, потому что не можешь достучаться до брата? Так себе выход.

— Он думает, что его бросили родители.

— Но они же уехали по делам. Через пару лет вернутся. Они всегда возвращаются.

— Знаю. И он знает. Но всё равно играет в мученика. Возраст такой. Впрочем, он всегда был балбесом. Просто сейчас нашёл этому оправдание.

— Ты строг с ним.

— А что мне делать? — он раздражённо выдернул руку. — Он же влипнет, рано или поздно. А родители скажут, что я не доглядел.

Ли́ка отступила на шаг. Не испугалась — просто дала пространство.

— Я не знаю, как воспитывать подростков, — сказала она. — Я не знаю, как заменять родителей. Я даже не знаю как воспитать своего парня, чтобы он не бил беззащитные стены. Надо придумать стены, которые будут давать сдачи, таким как ты. Но я знаю точно, что загнанных братьев выгоняют из институтов, если они перестают учиться. Не сливай свою жизнь в канализацию. Ни ради брата. Ни ради родителей, ни даже ради меня.

Она замолчала. Поджала губы. Артём смотрел, как она борется с собой, с желанием сказать больше, чем можно, и с желанием промолчать. Он не ожидал такой жёсткой отповеди. Поэтичная, эстетичная будущий дизайнер интерьеров и всего чего возможно, Ли́ка, обычно была куда более покладистой и деликатной. Но, похоже, её он достал ещё больше, чем брата.

— Я просто хочу помочь, — сказала она, наконец. — Но я не могу помочь, если ты меня не пускаешь.

Он опустил глаза. На полу, между ними, лежала крошка хлеба. Он смотрел на неё и думал: Ли́ка права. Она всегда права. Но у неё нет сестры и ей трудно понять, что значит, с ужасом видеть, как близкий человек со смехом летит в пропасть. Что значит, каждую ночь ждать, что придёт полиция. И либо сообщит, что его брата нашли мёртвым в пруду, плавающим рядом с уткой, либо, чтобы надеть на Лёху наручники и разлучить их лет на пять-семь.

Для Ли́ки это всего лишь щенячий бунт, который подросток перерастёт, как старые кроссовки. Но он видит, что брат ведёт какой-то свой бег с препятствиями. Прыгает через барьеры, один за другим. И каждый раз этот прыжок всё опаснее.

— Давай ужинать, — сказал он. — Я позову Лёху.

Лёха вышел через десять минут. Не потому, что Артём позвал. Просто захотел есть.

Они сидели втроём за столом на кухне. Ли́ка приготовила пасту с томатным соусом — быстро, просто, из того, что было. Лёха ел, молча, уткнувшись в телефон. Артём смотрел в тарелку. Ли́ка переводила взгляд с одного на другого и, кажется, что-то считала в уме.

— Лёха, — сказала она, — как дела в школе?

— Нормально.

— А конкретнее?

Он пожал плечами, не поднимая глаз от экрана. Телефон пикнул — пришло сообщение.

— Друзья? — Ли́ка не сдавалась. — Как там твоя компания?

— Нормально.

Артём сжал вилку. Этот разговор повторялся из вечера в вечер, как дурной цикл в коде. «Как дела?» — «Нормально». «Что делал?» — «Гулял». «С кем?» — «С пацанами». И дальше пустота.

— Лёха, положи телефон, — сказал он.

Тишина. Палец продолжал скользить по экрану.

— Я сказал: положи телефон.

— Я ем.

— Положи. Телефон.

Лёха поднял глаза. В них была та же насторожённость, что и прежде, у двери в его комнату.

— И что будет, если не положу? Ударить меня, как стену?

Артём почувствовал, как кровь прилила к лицу. Лица замерла с поднятой вилкой. В тишине кухни тикали часы и гудел холодильник.

— Я не бил тебя, — сказал Артём медленно. — И не ударю. Ты мой брат.

— Тогда не командуй.

— Я не командую. Просто прошу. Положи телефон, пока мы едим. Дай нам пять минут. Всего пять минут.

Лёха посмотрел на Лику, будто искал поддержки. Она не отвела глаз, но и не вмешалась. Тогда он демонстративно, с преувеличенной аккуратностью, положил телефон экраном вниз и развёл руками:

— Доволен?

— Спасибо.

Тишина сгустилась. Лица попыталась спасти вечер:

— Я тут проект делаю. Парк. Наш парк. Представляете, если бы его можно было перестроить? Убрать этот ужасный ларек, сделать нормальную набережную, поставить светильники на солнечных батареях...

— Фонари разобьют через неделю, — сказал Лёха, не глядя на неё.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что знаю. Тут всё разбивают. Тут нельзя нормально.

— А я думаю, можно, — Лица наклонилась вперёд. — Если сделать так, чтобы людям самим захотелось сохранить. Не запрещать, а предложить. Знаешь, есть теория: если пространство выглядит ухоженным, его меньше портят.

— Сказки, — хмыкнул Лёха, но без злобы. — У нас не район. У нас джунгли. В джунглях выживает сильнейший. А не самый вежливый.

— И ты хочешь быть сильнейшим?

Лёха промолчал. Потом взял телефон и поднялся из-за стола.

— Спасибо за ужин.

И ушёл. Дверь в его комнату закрылась с уже знакомым щелчком.

Потом была доставка.

Артём крутил педали по вечернему району, и холодный ветер бил в лицо. Оранжевый рюкзак давил на спину. Заказы шли один за другим: пицца на девятый этаж, суши в офис, пакет молока и хлеба старушке, которая открыла дверь на цепочку и долго искала мелочь.

Он гнал по пустым тротуарам, лавируя между припаркованными машинами. В очередной раз пришлось объезжать чёрный мерс, который перегородил проулок. Артём спрыгнул с велосипеда, поднял его на руки и перенёс через бордюр. Колесо чиркнуло по асфальту. Он обернулся. В салоне темно и пусто. Машина стояла, как памятник человеческому равнодушию.

Он подумал: вот бы кто-нибудь разбил ему окно. Или проколол шины. Или написал на капоте слово. Какое-нибудь простое, чтобы помнить.

Мысль мелькнула и исчезла. Он поехал дальше. Четвёртый заказ. Пятый. Шестой.

В одиннадцать он вернулся домой. Мышцы гудели. Хотелось в душ и в кровать. Но вместо этого сел за ноутбук и открыл курсовую работу. Код, который он не дописал. Строки, которые ничего не решали. База данных, которая никому не нужна.

Он смотрел на экран и видел не код. Он видел закрытую дверь Лёхиной комнаты. Он видел его глаза — насторожённые, колющие. Он слышал его слова: «Ты мне не батя».

Что он делал не так? Где та ошибка, которую можно найти и исправить?

Он не знал. Жизнь не компилировалась.

В час ночи Лика написала: «Не спишь?»

Он ответил: «Нет. Курсовая».

«Врёшь. Ты просто сидишь и думаешь о нём. Я знаю. Я тоже не сплю».

Он не ответил. Она написала снова: «Я люблю тебя. Ложись спать».

Он прочитал. Отложил телефон. Закрыв ноутбук. Лёг в кровать, не раздеваясь. Устался в потолок. Где-то наверху, этажом выше, кто-то ходил — шаги, глухие, тяжёлые. Хлопнула дверь. Завыла собака в парке. Потом всё стихло.

Он лежал и думал: завтра. Завтра он попробует снова. Завтра он найдёт правильные слова. Завтра Лёха услышит.

Но где-то в глубине души он уже знал: завтра ничего не изменится. Дни шли по кругу, как заезженная пластинка. Лёха уходил в ночь. Артём ждал. Лика пыталась их спасти. И никто — ни полиция, ни власть, ни соседи — не мог помочь. Потому что этот район был колодцем. И все они сидели на дне.

Последняя мысль перед сном была странной, чужой, будто в голову залетела из чьей-то другой головы «кто-то должен навести здесь порядок».

Он не знал, почему подумал об этом. И не знал, что в четырёхстах метрах от него, в квартире на шестом этаже, другой человек думает о том же самом.

Глава 3

Началось с письма.

Он написал его от руки, надев перчатки. Гелиевой ручкой, на листе в клетку, вырванном из блокнота. Но не своим прежним учительским почерком, где каждая буква выведена отдельно, без наклона. Так он писал на доске когда-то, в школе, объясняя устройство рубанка или породу дерева. Так он писал замечания в дневниках: «Уважаемые родители, ваш сын...»

Теперь он писал другое, но по смыслу близкое. Печатные буквы, ровные и чёткие как солдаты на параде.

Письмо было коротким. Он переписывал его несколько раз — не потому, что сомневался в словах, а потому, что хотел добиться правильного тона. Не угрозы. Не просьбы. Констатация факта.

«Уважаемый сосед. Шум вашего мопеда мешает жителям. Просьба не ездить во дворе. С уважением, ваш район».

Он перечитал. Сложил листок втрое. Запечатал в конверт — простой, белый, без марок. Написал адрес: «Коляну, квартира 87, подъезд 4». И опустил в почтовый ящик.

Это было первое. За ним последовали другие.

Коляну-Мопеду — два. Первое с просьбой, второе, через три дня, с предупреждением: «Ваше поведение мешает окружающим. Пожалуйста, отнеситесь серьёзно». Витьку-Магнитофону — одно, с просьбой убавлять громкость по вечерам. Хозяину чёрного джипа — одно, с требованием не парковаться у подъезда. Старшему из подростковой компании — он узнал его имя, Сергей, семнадцать лет, квартира 112, — одно, с просьбой не жечь костры у пруда. Алкашам у ларька он не писал — они бы не прочитали. Им он приготовил другое развлечение.

Письма он опускал в ящики по ночам, когда двор затихал — насколько вообще мог затихнуть. Руки в перчатках, капюшон надвинут на лицо. Камер в подъездах нет — их сняли пять лет назад, когда у управляющей компании кончились деньги.

Утром он стоял у окна и смотрел, как Колян выходит из подъезда с письмом в руке. Видел, как парень хмурится, вертит конверт. Видел, как читает, шевеля губами. Видел, как комкает бумагу и кидает мимо урны.

В этот день мопед ревел как обычно. И на следующий тоже.

Через три дня он перешёл к плакатам.

Дизайн простой: белый лист формата А3, чёрный маркер, крупные буквы. Никаких украшений, никакой агрессии. Только послание. Первый плакат он повесил на двери подъезда №4 — там, где жил Колян.

«Уважаемые соседи! Наш район — наш общий дом. Давайте сделаем его тише и чище. Уберите машины с газонов. Выключайте музыку после 23:00. Не мусорите у пруда. С уважением, ваш район».

Он приклеил плакат скотчем — аккуратно, по углам, без пузырей. Отошёл на шаг, оценил. Ровно. Читаемо. Он поправил левый верхний угол, который слегка загибался. Вот так. Хорошо.

Утром у плаката собрались люди.

Первой пришла Анна Степановна. Она стояла, щурясь, водя пальцем по строкам, и губы её шевелились, будто она молилась. Потом она обернулась к Петру Ивановичу, который как раз вышел на свою ежеутреннюю вахту у «девятки».

— Видал? — спросила она громко, на весь двор.

Пётр Иванович подошёл, поправил очки.

— Ну. Видал.

— И что скажешь?

— Да что сказать... — он почесал затылок. — Слова правильные. Только кто ж их читать будет.

— Я читаю, — отрезала Анна Степановна. — И ты прочитал. Значит, уже двое.

Пётр Иванович хмыкнул. Он не был согласен, но и спорить не решался. Его отношение к происходящему менялось по несколько раз на дню. Утром, когда он увидел плакат, в нём шевельнулось что-то похожее на надежду. К обеду, когда он обнаружил свежий окурок на капоте своей «девятки», надежда угасла. К вечеру, когда Колян снова проехал по газону, он уже, молча, махнул рукой.

Но Анна Степановна была непоколебима. Регулярно проверяла, чтобы не сорвали. Поправляла скотч. Когда такие плакаты заполнили двери подъездов, магазинов и ларьков, — она просияла.

— Видал? — сказала она Петру Ивановичу. — Он не остановился. Он продолжает.

— Кто «он»?

— Тот, кто это пишет. Кто плакаты вешает.

— Да кто ж он? — Пётр Иванович развёл руками. — Никто не знает. Может, хулиган какой.

— Хулиган такое не напишет. Хулиган ошибок наделает, матом всё испортит. А тут... — она ткнула пальцем в плакат. — Видишь? «Уважаемые соседи». «С уважением». Грамотный человек писал. Интеллигентный.

Пётр Иванович хмыкнул снова, но спорить не стал.

Раиса Ильинична реагировала иначе.

Она прочитала первый плакат, и лицо её стало тревожным. Не злым, не радостным — именно тревожным, как у человека, который слышит далёкий гром и не знает, будет ли гроза.

— Не нравится мне это, — сказала она Анне Степановне.

— А что тебе может нравиться, Рая? Ты вообще, когда последний раз чему-то радовалась?

— Я войну пережила, Аня. И людей, которые вешали плакаты с правильными словами, я тоже видала. Красивые слова, а потом — публичный расстрел. Я знаю, с чего начинается порядок. Он всегда с этого начинается. С плакатов, листовок, объявлений по радио. А потом — другое.

— Глупости, — отрезала Анна Степановна. — Ты везде войну ищешь. А тут просто человек хочет, чтобы чисто было. Чтобы тихо. Ты разве не хочешь?

Раиса Ильинична замолчала. Она хотела тишины больше, чем кто-либо. Она мечтала о ней. Но она знала цену, которую иногда платят за тишину, и эта цена ей не нравилась.

— Дай Бог, чтобы я ошибалась, — сказала она тихо и перекрестилась.

Карина прочитала плакат, когда везла Павлика из поликлиники. Остановилась, держа коляску одной рукой, и долго смотрела на чёрные буквы. Слова «тише и чище» отозвались в ней физически — она вспомнила прошлую ночь, когда Павлик проснулся трижды, и каждый раз — от рёва мопеда или музыки из окна.

— Хорошо бы, — сказала она вслух сама себе. — Хорошо бы.

Но веры в её голосе было мало. Она уже год жила в этом районе и успела понять: здесь ничего не меняется. Здесь всё идёт по кругу. Жалобы сгорают в кабинетах. Полиция не приезжает. Соседи обещают и забывают. Плакат — это просто бумажка. Бумажка ничего не изменит.

Неделя. Одиннадцать писем. Пятнадцать плакатов. Ноль результата.

Колян Мопед гоняет как обычно. Он прочитал письма — и выбросил. Он видел плакат — и даже не замедлил шаг. Однажды, проходя мимо подъезда №4, он сорвал плакат, скомкал и кинул в урну. Анна Степановна видела это из окна и потом, на лавочке, возмущалась, размахивая тетрадкой.

— Сорвал! Своими руками сорвал! Как так можно?

— А ты чего ждала? — спросил Пётр Иванович. — Ему плевать. Им всем плевать.

Он помолчал. Потом добавил с горечью:

— Мне вчера ниппель свинтили. Новый даже не буду покупать. Всё равно украдут.

— Я записываю, — сказала Анна Степановна. — Я всё записываю.

— Да толку от твоих записей? — он махнул рукой. — Хотя бы этот... автор плакатов... хоть бы он что-то сделал. По-настоящему.

Старик сам не знал, что значит «по-настоящему». Но слово было сказано. Повисло в воздухе.

Он стоял у окна и смотрел на новый плакат, который повесил ночью. Он знал, что его сорвут. Он знал, что письма не работают. Он знал это с самого начала. Но он должен был дать им шанс. Всем. Доказать — хотя бы самому себе, — что он испробовал мирные методы.

Две недели. Семнадцать писем. Двадцать семь плакатов. Итог: ноль. Колян сорвал плакат. Витёк Магнитофон сделал музыку громче. Джим всё так же стоял у подъезда. Подростки жгли костры. Собаки рылись в мусоре.

Соседи? Они читали плакаты. Обсуждали письма на лавочках и в очередях у ларька. Они спорили — поддерживать или нет, верить или сомневаться. Анна Степановна благословляла автора. Пётр Иванович колебался. Раиса Ильинична крестилась. Карина надеялась. Но никто ничего не делал. Они ждали. Ждали, что кто-то другой наведёт порядок. Что кто-то другой возьмёт на себя ответственность.

Что ж. Они дождались.

Он отошёл от окна. Открыл шкаф. Достал коробку из-под обуви, стоявшую под стопкой старых советских книг. Поставил на стол. Открыл крышку.

Моток верёвки. Изолента. Ножи. Кусачки. Пакеты. Леска. Всё на месте. Всё готово.

Он достал блокнот. Перечитал записи. Адреса, имена, время возвращения. Колян — три сорок семь. Витёк — дома после шести, пьёт. Подростки — парк, берег пруда, после заката. Всё учтено. Всё просчитано.

Он закрыл блокнот. Положил обратно в коробку. Убрал коробку в шкаф.

— Вы сами выбрали, — сказал он тихо. — Я дал вам шанс. Вы им не воспользовались.

Светина кружка стояла на подоконнике. Фотография улыбалась. За окном Колян Мопед заложил круг по газону, и стёкла задребезжали.

Он даже не вздрогнул.

— Теперь уроки будут другими.

Глава 4

Плакаты и письма ничего не изменили. Его терпение истачивалось медленно, как просачивается вода сквозь трещину в бетоне. Капля за каплей. Сорванный плакат. Смятое письмо в урне. Мопед, ревущий под окнами ровно в три сорок семь. Никто не услышал. Никто не исправился. И сквозь бетон пробились первые ростки гнева. Пока ещё зелёные, хотя красные цветы уже созревали в своих бутонах.

Слова кончились. Пришло время других инструментов.

Первой стала машина.

Чёрный джип стоял у подъезда третьи сутки подряд. Водитель — мужчина лет сорока, с животом и золотой цепью поверх футболки — приезжал вечером, парковался вплотную к ступеням и уходил. Не оборачиваясь. Не думая. Однажды он задел зеркалом старушку, которая пыталась протиснуться с тележкой — просто отмахнулся: «Не стой на дороге, бабка». Старушкой оказалась бдительная Анна Степановна. Она записала номер машины в тетрадку. Он знал это. Она рассказывала на лавочке, и он слышал, возвращаясь с работы.

В три часа ночи он вышел из подъезда. В руке — не нож, не верёвка. Просто шило. Тонкое, острое, с деревянной ручкой. Шило не считается оружием. Шило — инструмент сапожника. Он не сапожник, но кто узнает. Тем более, ночью.

Джип спал. Огромный, блестящий, с тонированными стёклами. Он обошёл машину по кругу, касаясь пальцами холодного металла. Провёл ладонью по капоту — шершавый от пыли. Посмотрел на свои руки. Представил, как эти руки держали жену. Как гладили её волосы. Как сжимали её ладонь в больнице.

Он наклонился и вогнал шило в заднее колесо. Резина поддалась с тихим вздохом — так вздыхает человек, когда боль, наконец, проходит. Воздух зашипел. Он не торопился. Выдернул шило, перешёл ко второму колесу. Потом к третьему. Четвёртое трогать не стал — нужно оставить надежду. Спущенное колесо меняют. Четыре спущенных — вызывают эвакуатор. Он хотел, чтобы водитель помучился. Чтобы вышел утром на работу, увидел, выматерился, опоздал. Чтобы начал думать: почему. Кто. За что.

Ответа он не найдёт. Но вопрос останется.

Мопед Коляна он поцарапал в ту же ночь.

Мопед стоял у соседнего подъезда, прикованный цепью к столбу. Колян был неосторожен. Колян думал, что цепь защищает, но цепь защищала от угона. Не от него.

Он присел на корточки. Достал отвёртку. Провёл линию от бензобака до сиденья, медленно, с нажимом. Краска треснула и разошлась, обнажив серый грунт. Звук был такой, будто кто-то разрывает плотную ткань. Он подумал: вот так оставляют шрамы. На коже. На металле. На памяти.

Он провёл вторую черту, параллельную первой. И третью — поперёк. Получилась решётка. Символ. Пусть гадают.

Колян обнаружил царапины утром. Его крик разбудил полдвора. Матерился так, что голуби сорвались с карнизов. Бил ногой по столбу, к которому был прикован мопед. Угрожал найти и убить. Кричал в телефон кому-то, обещал «разобраться».

Он слушал это из окна и не чувствовал ничего. Только холодное, спокойное удовлетворение. Колян злится — значит, заметил. Колян не понимает — значит, начал думать. Колян угрожает — значит, боится. Хорошо. Страх — начало понимания.

Через два дня он взялся за Витьку-Магнитофона.

Витёк жил на восьмом этаже, на два этажа выше. Два-три раза в неделю — шансон. Грохот, от которого дрожали Люсины чашки. Постоянно — Любовь Успенская, «Владимирский централ» и «Воля», и хриплый голос, от которого хотелось выть.

Он знал, что Витёк пьёт. По средам алкаш получает зарплату за неделю работы подсобным рабочим на каком-то складе и напивается до беспамятства.

В среду он поднялся на восьмой этаж. На площадке пахло табаком и перегаром, который давно и прочно прописался здесь. Из-за двери уныло дристал шансон, но тише обычного — значит, ещё не набрался. Он не стал звонить или стучать. Он пришёл не за этим.

Достал из сумки банку с красной краской. Обычной, масляной, купленной в строительном. Открыл банку. Запахло резко, химически, почти ядовито. Он обмакнул кисть и начал писать.

На двери, на уровне глаз, крупными буквами: «ТИШИНА».

Краска стекала вниз, оставляя красные потёки, похожие на кровь. Он не затирает. Пусть видит. Пусть каждый раз, открывая дверь, читает это слово.

На следующий день Витёк вышел на лестницу и замер. Он стоял перед своей дверью, покачиваясь с похмелья, и смотрел на красные буквы. Соседка с девятого этажа, проходившая мимо, спросила: «Это что такое?» Витёк не ответил. Он зашёл в квартиру и захлопнул дверь.

Вечером он включил музыку, но тише. Едва заметно, на пару делений. Он понял. Ему стало страшно. Но понял он неправильно — не то, что нужно остановиться, а то, что кто-то приходит к его двери, пока он спит. Кто-то стоит рядом. Кто-то его видит.

Страх — не плохой учитель, но, возможно, боль — лучше. Он запомнил это. Просто, на будущее.

Потом были другие.

Машина, припаркованная на газоне — он выдавил боковое зеркало и оставил записку: «Газон не парковка». Хозяин машины, молодой парень из седьмого подъезда, орал на весь двор: «Кто? Кто это сделал?» Никто не признался. Никто не знал.

Подростки, жгущие костёр у пруда, однажды вечером они нашли своё кострище залитым цементным раствором. Груда серой грязи, в которой застыли окурки и обрывки фольги. Кто-то пришёл ночью с ведром и мастерком и работал, пока они спали. Подростки смеялись, но смех был нервным. Они перенесли костёр на другое место. Через три дня раствор был уже там.

Прозвище он получил неожиданно.

Утром Анна Степановна, как обычно, сидела на лавочке с тетрадкой. Пётр Иванович стоял рядом, ковыряя носком ботинка трещину в асфальте.

— Ты заметил? — спросила Анна Степановна. — Опять ночью что-то было.

— Что?

— У алкаша дверь красная. И зеркало у этого типа из седьмого подъезда разбито. И кострище залито. Кто-то работает.

— Хулиган какой-то...

— Нет. Хулиган бы просто так гадил, ради удовольствия. А тут система. Тут смысл. Этот человек... он воспитывает.

Она замолчала, глядя перед собой. Потом кивнула своим мыслям и сказала громко, будто объявляя:

— Воспитатель. Вот он кто.

Слово упало в утренний воздух и осталось висеть. Пётр Иванович хмыкнул. Анна Степановна записала что-то в тетрадку. А через два дня всё районное сарафанное радио, бабушки на лавочках, продавщицы в ларьке, матери у песочниц, — уже говорило о Воспитателе. Кто-то с восхищением. Кто-то с опаской. Но мало кто остался равнодушным.

Он услышал это впервые, когда проходил мимо лавочек. Анна Степановна сказала: «Воспитатель опять поработал». И он почувствовал, как внутри разливается тепло. Не жаркое, не лихорадочное, а спокойное, ровное. Его признали. Его назвали.

Воспитатель. Да. Это имя ему шло.

Сочувствие жителей росло, но росло и напряжение.

Анна Степановна стала главным рупором Воспитателя. Она рассказывала о его деяниях всем, кто готов был слушать. Она записывала в тетрадку каждую новую выходку — спущенные шины, царапины, надписи — и комментировала: «Так им. Так и надо». Пётр Иванович всё ещё колебался, но уже не спорил. Что-то в этом было. Что-то правильное. Когда в его «девятке» в очередной раз свинтили ниппель, он пробормотал: «Воспитатель бы их...» И осёкся.

Раиса Ильинична спорила с Анной Степановной каждый день. Их лавочка превратилась в поле битвы.

— Это добром не кончится, Аня, — говорила она, сжимая палочку. — Я таких людей знаю. Начинается с дверей и шин, а заканчивается... ты не знаешь, чем заканчивается. А я знаю.

— Рая, ты со своей войной уже всех соседей достала. Да, война была. Да, страшно. Но сейчас мирное время. И если в мирное время кто-то наводит порядок, это не фашист. Это санитар.

— Санитар? — Раиса Ильинична качала головой. — Санитар лечит. А этот... этот метит. Ты заметила? Он всегда оставляет подпись. Красная краска на двери. Записки под дворниками. Царапины крест-накрест. Это не порядок, Аня. Это послание. Он хочет, чтобы его боялись.

— И правильно, — отрезала Анна Степановна. — Пусть боятся. Может, тогда перестанут гадить.

Спор не закончился. Он продолжался каждый день, и ни одна не могла переубедить другую. Но Раиса Ильинична была одна. Большинство соседей, из тех, кто вообще имел мнение, склонялись к тому, что Воспитатель делает нужное дело. Грязное, опасное, но нужное.

Артём никогда не интересовался слухами, и районные новости пропускал мимо ушей. Он и так всё знал, ещё с дошкольного возраста. То, что ему было интересно и нужно знать. Но о Воспитателе говорили многие. Трудно остаться безучастным.

— Ты слышал? — спросила Лика вечером, когда он вернулся с доставки. Специально пришла поделиться новостями. — Тут какой-то сумасшедший двери краской мажет. И шины прокалывает.

— Слышал, — он скинул рюкзак и сел на стул. Ноги гудели. — Бабки на лавочке говорили. Воспитатель.

— И тебе не страшно?

— А чего бояться? Я не ору по ночам. Машину на газон не ставлю. Мопеда у меня тоже нет, только бесшумный велосипед. Мне он ничего не сделает.

— Дело не в том, сделает он тебе или нет, — Лика нахмурилась. — Дело в том, что это неправильно. Нельзя портить чужое имущество, даже если человек тебе мешает. Есть полиция. Есть законы.

Артём усмехнулся.

— Полиция? Ты пробовала вызывать полицию, когда под окнами орёт мопед? Я пробовал. Они не едут. Мопеды — не по их части. Полиция не работает. Вот этот человек — он работает.

— Тём, ты серьезно?

— Серьёзно. Я его понимаю.

Он сам не знал, почему это сказал. Может быть, из-за усталости. Может из-за Лёхи, который опять ушёл в парк и не отвечал на звонки. Возможно, из-за бессилия, которое копилось месяцами.

Ли́ка смотрела на него, и в её серо-зелёных глазах была тревога.

— Ты понимаешь человека, который портит чужое имущество? Который угрожает? Это хулиганство, Тём. Это преступление. Ты же сам всегда был против всех этих гопников.

— Преступление — это когда в три часа ночи под окнами ревьёт мопед. И когда музыка так, что стены дрожат. И когда машину ставят так, что коляска не проходит. Вот это преступление. А то, что делает Воспитатель — это... ответ.

— Ответ должен быть по закону.

— Закон не работает.

— И что? Самосуд? Каждый — сам за себя. Сам себе закон. Это дорога в никуда. Сегодня он шины прокалывает, завтра что? Щенят начнёт топить. А послезавтра?

Артём молчал. Ли́ка подошла, села рядом, взяла его за руку. Её пальцы были холодными.

— Я всё понимаю. Ты устал. Ты тянешь всё на себе. Но этот Воспитатель — не герой. Он такой же, как те, с кем борется. Он тоже переступает черту.

— Иногда нужно переступить, — тихо сказал Артём, — чтобы что-то изменилось.

Ли́ка отдернула руку.

— Ты правда так думаешь?

— Не знаю. Может быть.

Она встала. Прошла по кухне, обхватив себя руками.

— Мне страшно, Тём. Наш район будто скалит зубы и сочится гноем.

Парень улыбнулся.

— Тебя опять в поэзию потянуло.

Девушка досадливо нахмурилась.

— Даже ты ожесточаешься. А ты самый добрый человек, которого я знаю. Неужели наше будущее — это суд Линча. А потом кровная месть. А дальше, привет пещеры и шкуры. Будем друг друга дубинками по голове бить.

В коридоре хлопнула дверь. Лёха вернулся. Немного подслушал их разговор. Думал, опять его обсуждают, но ради разнообразия, в этот раз ругали кого-то другого. Прошёл на кухню, не глядя на них, открыл холодильник.

— О, — сказал он, усмехаясь, — вы про Воспитателя? Мне пацаны рассказали. Он тут одному чуваку дверь изрисовал. Типа «тишина». Прикиньте?

— Не смейся, — сказала Ли́ка. — Это серьёзно.

— Да ладно, — Лёха откусил от яблока, захрустел. — Чё он сделает? Краской помажет? Ой, страшно. Если я его встречу, я ему такую тишину устрою! Будет знать, как строить из себя крутого.

— Лучше не надо, — сказала Ли́ка. — Мне кажется, это опасный человек.

— Опасный? — Лёха сплюнул яблочную кожуру в раковину. — Да он просто тряпка. Прячется по ночам, как крыса. Настоящие пацаны так не делают. Настоящие пацаны в лицо говорят.

— Ты бы в лицо сказал? — спросил Артём.

— Легко.

— А если он тебя действительно встретит?

— Пусть встретит, — Лёха развёл руками. — Пусть попробует. Я не Колян Мопед, я не буду стоять и смотреть, как мою тачку царапают. Я ему сам такую царапину оставляю. Понял?

Он швырнул огрызок в раковину и вышел. Артём смотрел ему вслед. Что-то в этих словах было не просто бахвальством. Что-то было настоящим. Лёха действительно не боялся. И это пугало больше всего.

— Вот видишь, — сказала Лика тихо. — Он уже говорит как они. Как те, кто всё решает силой.

— Это не Воспитатель его научил. Это улица.

— А Воспитатель — та же улица. Просто с другой стороны.

Она взяла сумку, перекинула через плечо.

— Я пойду, завтра рано вставать. Ты подумай над тем, что я сказала. Пожалуйста.

— Подумаю.

Она поцеловала его в щёку — быстро, сухо — и ушла. Дверь закрылась. Артём остался сидеть в кухне, глядя в одну точку. В раковине лежал яблочный огрызок. В холодильнике гудел мотор. В соседнем доме какой-то пьяный включил музыку. «Рамштайн». Стёкла начали подрагивать.

Он думал о Воспитателе. О том, что где-то рядом живёт человек, который тоже устал. Который тоже не спит ночами. Который тоже понял: слова не работают. И этот человек начал действовать. Неправильно? Да. Незаконно? Да. Но он хотя бы что-то делает. Хотя бы не сидит, сложа руки, как все остальные. Как сам Артём.

Он сжал кулаки. Ссадина на костяшках заныла.

— Может быть, ты прав, — сказал он тихо, в пустоту. — Может быть, иногда нужно переступить.

Басы стали громче. Чашки соседей задребезжали в сервантах. Собаки завывали в парке. Колян Мопед завёл двигатель и покатил по газону. Обычная ночь. Обычные звуки.

Артём встал, закрыл форточку, задёрнул штору. Разделся. Лёг. Уставился в потолок.

Где-то в четырёхстах метрах от него Воспитатель тоже смотрел в потолок. И тоже не спал.

Глава 5

Голуби бесили его больше, чем он готов был признать.

Каждое утро одно и то же: воркование, топот, драки за место на козырьке. Бесконечный помёт, который нужно отмывать с окон, а через день — снова. Они гадили на бельё, которое сушилось на балконах. На коляски, оставленные у подъезда. На лавочки, где сидели старухи. Они были везде — жирные, сизые, с красными лапками и пустыми глазками-бусинами. Они не боялись людей. Люди для них были частью пейзажа, как деревья, как фонари, как мусорные баки. Они жили здесь на правах хозяев, и никто не оспаривал их власть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.